

Иван ЗОРИН

г. Москва



Спиритический сеанс для Николая Второго

рассказ



«Понедельник, вторник, четверг — три «мужских» дня, а среда, суббота и пятница — три «женских», — бубнил кривой мужик, катая по тарелке голубиное яйцо, — «мужские» дни счастливые по нечётным числам, а «женские» — по чётным...» Этого чернявого оракула привезли к государю из-за тридевяти земель, на телеге, которая тащилась позади славы, — у себя в провинции он нагадал недород и болезнь губернатора. «Мужчина проживает в одиночку, а женщина делит жизнь с приплодом...» — пояснил оракул, увидев вздёрнутую бровь. Из сада пахло яблонями, и душная истома стояла на балконе, как гвардеец. В этот час умирают споры, а в темноте карманов рождается истина, за которой лень сунуть руку.

«Скорее бы вечер...» — подумал Николай, отстукивая на подлокотнике военный марш.

Была годовщина коронации, в Царском Селе чертили на воде «Боже, царя храни» и, готовясь к фейерверку, заряжали пушки. Песочные часы на подоконнике цедили время, которое должен был скрасить прорицатель, но государь уже клевал носом. Его шея вылезала из воротничка, а подбородок касался груди. Во сне он видел свой экипаж посреди толпы, как это было недавно в голодающей губернии, когда матери протягивали ему пелёнки, на которых прорех было больше, чем

заплат. Швыряя медяки, он то и дело поворачивался так, чтобы не слышать плача, но половина его лица всё время оставалась в тени. А другая горела, будто от пощёчины. «Сами не знают, чего хотят...» — подумал он, разворачивая письмо, прилетевшее к нему «аэропланом». Целую вечность его палец скользил по бумаге, но ему показалось, что он забыл грамоту, что буквы принадлежат какому-то неизвестному алфавиту, он едва разобрал одно слово, и это был день недели...

«А воскресенье среднего рода, — гнул своё чернявый мужик, — потому что оно Богово...»

Сны клюют глаза, как птицы, и шлют чёрные метки. Теперь царский кучер правил к Дворцовой площади, на которой мёртвые стояли среди живых, как недавно на Ходынском поле, вокруг колыхались хоругви, стискивая коляску, словно уносящие душу демоны. «Николай, Николай, — пугая галок, звонили колокола, — отчего ты нам больше не заступник?»

И государь, опустив глаза, вчитывался в строки, которые налились кровью.

А кривой считал грехи, как ворон на заборе. «На свете три преступления, — загибал он пальцы, — ты рождаешься, начинаешь подобного и умираешь... И все они совершаются на постели...» Он закатил единственный глаз и, уставившись пустой глазницей, стал страшен.

«Грех, как слюна во рту, — завопил он, — святость — сушит!»

Николай вздрогнул. Он вдруг увидел мир его мёртвыми глазами, в которых чернело будущее. И от этого ему захотелось выть. Он прислонил палец к губам, но пророк, соскочив со стула, как со сковородки, понёс ему на колени свою тень.

«Выйдет из-за окяна жёлтый ампиатор: на голове у него стог, а под мышкой косые скулы, — причитал он, дую на обожжённые пальцы. — И наткнётся он в поле на чучело, и завизжит на своём жёлтом языке, протыкая ему грудь железным пальцем! И тогда почернеет на соломе кровь, как кофейная гуща...» Теперь и Николай увидел расплывающееся пятно. А в нём бурю. Подкравшись из-за низких холмов, она приближалась стремительно, как это бывает в степи или на море. Он уже слышал раскаты грома. «Обмануть легче лёгкого, — гремело в них, — я подобрал слова, и ты увидел за

ними картину, которую я не вижу!» У мужика прорезался кривой глаз, которым он заморгал чаще, чем другим. Теперь он заикался, называл Николая отцом, но видел в нём сына.

«Любовь писана вилами по воде, а ненависть — в сердце, — шипел он. — Ненависть не победить любовью — черви не бьют пик... — Он посмотрел снизу вверх, как будто сверху вниз. — Но и пики не бьют червей. Ненависть и любовь, как собака и кошка, которых кормит один хозяин...»

Тарелка заходила ходуном, и яйцо, перескочив через край, разбилось. Чернявый затрясся над ним, как юродивый над копеечкой.

«Ты говорил: «Пусть слёзы подданных падут на моих детей»? — Николай отшатнулся, ему вдруг показалось, что песочные часы истекают кровью. — А хоть бы и нет, — подавился смехом чернявый, — слезинка младенца всегда разыщет невинного...»

От испуга Николай снова стал мальчиком — шевелил руками, забытыми в карманах, и, захлопывая книги, давил мух, которые до следующего урока успевали засохнуть между страницами, как цветок гимназистки. Он носил своё имя, как парик, и вся его земля умещалась под ногтями. Мальчик заливался колокольчиком, и тогда подавали обедать, он сердился, и тогда крутил мизинцем у виска, дразня гувернёра счетоводом. «Все считают, — обижался тот, — одни — звёзды на небе, другие — куски во рту...»

Однако человек, как цыган, бродит по линиям своей ладони, а его переводят, как стрелку будильника. С годами Николай нахлобучил имя, как шапку, и под ней оказались земли, над которыми не заходит солнце. Теперь у него была жена, с которой они ошупывали друг друга, как слепцы, и такая же страна. «Наденет фрак — всё равно дурак!» — разносили на хвостах сороки про его министров, из которых одни считали облака, другие — деньги, но никто — мертвецов. А железные камни уже пускали круги по земле, и солдаты в островерхих касках, нарезавшие у костров сало штыками, бежали в атаку с нерусскими междометьями, — вытирать сталь об императорские шинели...

«Важно не когда жить, а с кем, — вещал чернявый, — потому что человек всегда лишний...»

«Воистину лишний...» — повторил как оглашенный Николай.

В Царском Селе он по-прежнему сидел на балконе, а в иной реальности наматывал на сапоги вёрсты во всех четырёх направлениях. Он поглощал пространство вместе со снами, мыслями, книгами, и оно, в отличие от внешнего, которое липло к подошвам, размещалось внутри, в копилке, которая только пополняется, а очищается раз. В этом пространстве Николай уже оседлал возраст, когда вместо прелестей у женщин замечают изъяны, а мочатся через сморщенный огурец. «Классическое образование оставляет в прошлых веках», — брюзжал он, глядя, как его дети зубрят античность. Он старался держать свои мысли, как слюну во рту, но они выходили наружу плевками.

Теперь годов у него было больше, чем зубов, — немногим меньше, чем волос.

«Макушка для головы что пупок для тела, — говорил ему цирюльник, зачесывая пряди на затылок, — лоб обнажает ум, а плешь распускает мысли...» Государь с кислой миной следил, как выстригают ему седину, и не переменялся, когда рядом с бокалом на поднос положили отречение. Нетерпеливые руки тронули его за плечо. Он через зеркало покосился на бумагу, где краснели чернила, а подписи жгли, как поцелуй Иуды.

«Слова, как виды вдоль дороги, сейчас — один, через версту — другой...» — запил он царствование, история которого уместилась в глотке вина.

Была ранняя весна, от холода руки мёрзли больше, чем ноги, а грачи уже расселись, как на картине Саврасова. На телеге, впереди славы, Николая везли на восток, куда веками ссылали бунтарей, и у него опять было много времени, а земли с ноготь. «Сначала ищут твоей любви, потом — смерти», — думал он, соглашаясь сквозь сон с чернявым. Теперь по нему звонили так, что дрожали колокольни, но за него больше не молились, и небо не знало о его судьбе.

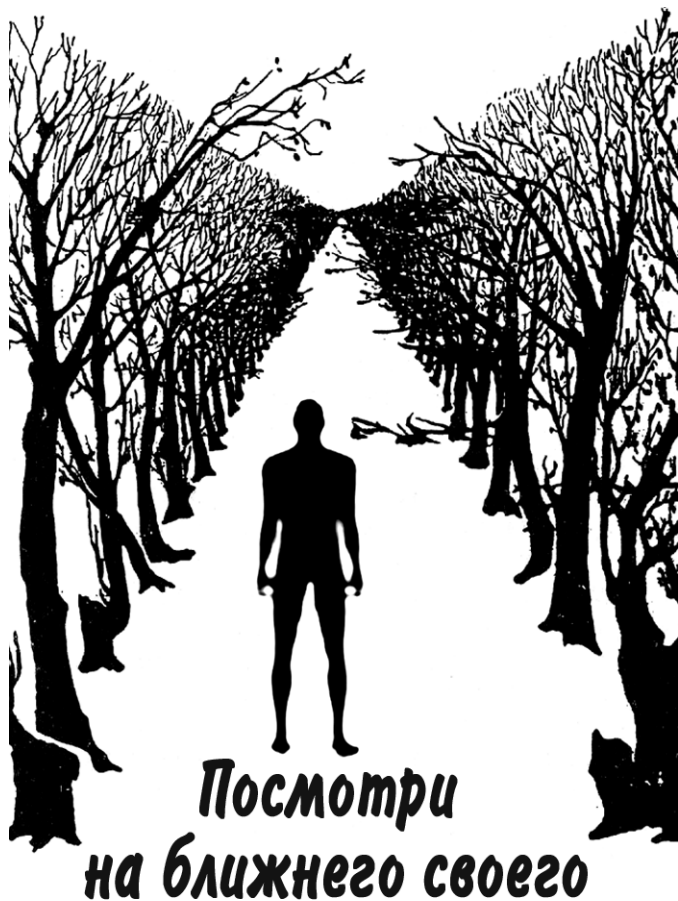
А это значило, что для него настал судный день.

Он ехал сквозь строй ангелов — это дети на обочине кусали с голоду воздух. «Как живут ваши матери?» — бросил он из повозки. «Хо-

рошо... — донёс ветер. — Они умерли». И опять у государя вспыхнула пощечина. «Хорошо там, где нас нет...» — закашлял над ухом чернявый. «И не будет...» — эхом подхватил он. А потом картины замелькали как в синематографе. Он увидел кривые берёзы, под которыми вместо грибов росли могилы, брошенные деревни, черневшие печными трубами, иссякшие колодцы и купеческий дом с решётчатыми ставнями, в котором ночи выворачивали наизнанку дни. Там его с женой и пока не родившимися у него детьми ведут в подвал, Николай во сне понимает зачем, а тот, что видит сон, — нет, и напряжённо вчитывается в чужие морщины, как в строки, которые наливались кровью. Будущее всегда смутно, прошлое — чуть брезжит. Он едва разбирает календарь, в нём жирным крестом перечёркнуто воскресенье. Под этим днём нет числа, потому что Бог проиграл его дьяволу в чёт-нечет. Ещё не наступив, оно уже прошло, это воскресенье, когда он умер, продолжая жить. «Чтобы убить другого, надо прежде убить себя», — понимает Николай, различая перевёрнутую январем шестёрку, за которой скалится зверь. И его опять охватывает ужас, как давным-давно в Царском Селе, когда, ожидая фейерверка, он уснул под глухие пророчества и видел, как в фонтанах на покрасневшей воде вместо «Боже, царя храни» проступило «мене, мене, текел, упарсин». Ему даже показалось, что он успел прочитать свою роль, прежде чем грянул залп...

Грянул залп, Николай очнулся, переступив через смерть. Он был один. Внизу стреляли пушки, и струи брызгали по небу, как пена эпилептика. Начинались гулянья, пора было выходить, но сон ещё долго держал его в тревожном оцепенении.

А когда Юровский, сосчитав двадцать три ступени, будет скороговоркой читать приговор, он снова увидит его на дне расстёгнутой кобуры. И тогда он поймёт, что время во снах течёт в обратном направлении, подступая с той стороны, откуда сочится судьба, из неизвестности, за гранью которой ему предстоит оказаться через мгновенье.



«Провожжающий — не попутчик», — покачал головой Харитон Скуйбеда, оправляя рясу и закрывая на ключ Библию в железном окладе. Разломив хлебную корку, он мелко перекрестился и принялся за постный монастырский суп, то и дело стряхивая с усов чёрствыи крошки. Когда он остановился перевести дух, у Иакинфа Сачурина, игравшего его роль, закололо под ложечкой. На другой день боль повторилась, Иакинф сдал анализы, которые оказались «плохими», и он, так и не успев перевести дух, очутился в корпусе для неизлечимых.

Сачурин был из тех, кто убегал от своего времени, но оно вилось кругами и, настигая, норовило заглянуть в лицо. Ему было за пятьдесят, у него была жена и свой круг, из которого он вдруг выпал, как птенец из гнезда. В боль-

нице его окружили случайные, бесконечно далёкие от него люди — он видел таких через стекло автомобиля, а теперь судьба свела их в одной палате, подвешенной между жизнью и смертью.

«Нашего полку прибыло...» — с молчаливой издёвкой встретили его. И Иакинф понял, что к другому, как к отражению в зеркале, можно бесконечно приблизиться, но слиться невозможно.

Дни прилетали, как галки, — каждой было место на заборе, и только его галке не хватало палки. «Мы выкарабкаемся!» — при свиданиях в вестибюле храбрилась жена, промокая ему виски платком. Она раскладывала на кресле промасленные свёртки, точно сорока, передавала приветы и, перескакивая с пятое на десятое, не замечала, что стала чужой. Ссылаясь на недомогание, Иакинф спешно целовал её в лоб и, удаляясь по сырому, пахнущему аптекой коридору, кусал до крови губы, едва сдерживая ненависть к этой здоровой, пухлой женщине, роднее которой у него никого не было.

«Возлюби ближнего своего, — мерил он шагами пролётшую между ними пропасть, — возлюби ближнего своего...»

У себя на Кавказе Бек-Агабазов жил на широкую ногу. «Рано или поздно перестаёшь быть мужчиной, — скаля острые зубы, любил повторять он за бокалом вина, — если почувствую, что сдаю — вот... — Он снимал с пальца турецкий перстень и, отворачивая камень, показывал яд. — Если родился горцем, нужно им быть до конца...» Женщины притворно ахали, прикрывая ладонями рты, мужчины хлопали его по плечу. Он умирал три года, измучив родственников и потратив состояние на знахарей. Он скупал чудодейственные, писанные на пергаменте рецепты, в которые заворачивал сушёные травы, и глотал их натошак. Ночами, уставившись в больничный потолок, он, будто покойник, складывал руки поверх простыни и нервно крутил перстень. Его посеревшее лицо наливалось кровью, он начинал задыхаться и, не выдержав, звал сестру. Закатав рукав, та колола успокоительное и

возвращалась на пост, так и не заметив, что просыпалась.

Через месяц после выписки Бек-Агабазова, истаявшего как сосулька, похоронили вместе с его лекарством от жизни. Он так им и не воспользовался: перстень болтался на исхудавшем, прозрачном мизинце, согнутом, как клюв хищной птицы.

Навещали Сачурина и актёры из театра. Когда-то он им радовался, теперь не хотел видеть и отговаривался процедурами. Был конец лета, солнце пригревало допоздна, и сквозь прутья в заборе они видели посреди больничного двора грубо струганный стол, за которым Иакинф, игравший философов и королей, стучал слепыми костяшками домино. В грязном, поношенном халате он находился среди своих, и актёры понимали, что вчера они были попутчиками, а сегодня стали провозжающими.

«У смертников своё братство, — недоумевали они дорогой, — отчего же смертные так не любят собратьев?..»

Жизнь для умирающих что журавль в небе. Когда привезли Аверьяна Богуну, он обводил всех растерянными, бегающими глазами.

— Правда, от этого не умирают? — с детской наивностью обратился он к усатому санитару, толкавшему его каталку.

— Мы люди маленькие... — угрюмо отмахнулся тот.

Свою болезнь Богун готов был обсуждать даже с уборщицей, его сторонились, и он целыми днями вышагивал по коридору как привидение. Диагноз ему ставили долго, и всё это время слышали, как, закрывшись в уборной, он судорожно всхлипывает. «Ну что ты как баба, — не выдержал его сосед, которого обследовали так же долго, — рано ещё нюни распускать...» Их приговорили в один день. Прекратив цепляться за таблетки, Богун сразу стал равнодушно холоден. Он вдруг вспомнил, как мальчиком, приехав в деревню, смотрел из окна: была ранняя весна, и собака на снегу ела конские лепёшки. Обогнув навозную кучку, к ней сзади, забросив на спину лапы, пристроился дворовый пес, а собака, не поднимая морды, продолжала есть. Тогда Аверьяну сделалось мерзко, растирая глаза, он бросился в

ванную смыть увиденное, а теперь ему подумалось, что это и есть жизнь. «Смерть придёт — не увидим», — отвернувшись к тёмному окну, надолго замолчал он. А ночами слушал, как сосед, ворочаясь под одеялом, не находил себе места на скрипучих пружинах и, когда не плакал, беспрерывно хрипел: «Смерть, смерть...»

Женились Сачурины по любви, завели детей и за двадцать лет не скопили друг от друга тайн. А теперь Иакинфа злили её крашенные губы, заплаканные глаза с поплывшей на ресницах тушью, его раздражали её преданность, бессмысленное желание остаться близкой, он понимал, что она ни в чём не виновата, и от этого злился ещё больше. Жизнь берёт своё, смерть — своё: жена оставалась на подмостках, он — за кулисами. Как и все в палате, он уже смотрел на мир с той стороны и, принимая передачи, делился ими с людьми, которых неделю назад не знал. Теперь у них была своя стая: волки, угодившие в капкан, они выли на прошлое, одинокие, как луна в небе, тёрлись спинами и ставили на то, кто кого переживёт. С лицами, пожелтевшими, как страницы давно прочитанной повести, они больше не верили в себя, убедившись, что у судьбы в рукаве всегда лишний козырь.

В полдень, размечая больничные будни, приходил психолог, шурясь от собственных слов, пел Лазаря, а под конец, обведя вокруг руками, советовал:

— Главное, не замыкаться в этих стенах — есть телефон...

— Телефон есть — звонить некому, — обрезал Иакинф.

Ему было страшно и бесконечно жалко себя.

Попав в земное чистилище, Иакинф перечеркнул прежнюю жизнь. Теперь она сморщилась, как мочёное яблоко, и ему стало казаться, что истина бродит здесь, среди пригвождённых к больничной койке.

«Кто ближе своего «я»? — вспоминал он мнолог Харитона Скуйбеды, возражавшего Евангелию. — Перед смертью ближние становятся дальними, смерть разлучает не с ними, но с собой...»

Эти мысли предназначались для глухого

подвала. Однако ересь не мыши, чтобы водиться в монастыре: к Харитону подступали бритоголовые стражники с колокольчиками в ушах, и он, схватив со стены тяжёлое распятие, отбивался от них, как от бесов. Но постепенно они одолевали: повалив на живот, вязали, прижимая щекой к полу. Харитон уже слышал над висками тихое позвякивание колокольчиков, и тут Иакинф, суча ногами, сбрасывал одеяло на пол.

«Да нет ещё, — не открывая век, различал он над собой перешёптывание санитаров, — спит...»

После отбоя лампочки светили тускло, вполнекала, и по нужде ходили, как тени, боясь оступиться на скользком полу. Пьяные от бессонницы, горбились на стульчаках, тайком от сиделок курили, плели друг другу небылицы или, безразлично уставившись в стену, обменивались молчанием. Составив вниз цветочные горшки, в этот раз на подоконнике болтали ногами восточные люди.

«Йог Раджа Хан состарился в медитации, — как по-писаному чеканил один, с громадным, нависшим над губами носом. — Перебирая чётки из вишнёвых косточек, он непрерывно молился и однажды увидел Брахму. Тот сидел на троне, сияя, как лотос, а вокруг простиралась тьма. «Приблизься!» — безмолвно приказал Брахма, и Раджа Хан увидел, как между ним и троном пролегли его чётки. Осторожно ступая, он двинулся по ним, считая кости шагами, как раньше — пальцами. Боясь повернуть голову, он всё время смотрел на свет, исходящий от Брахмы. «Дорога из чёткок узка и ненадежна, — свербило в мозгу, — сколько раз чётки рассыпались, когда рвалась верёвка...» От этих мыслей у него закружилась голова, не удержавшись, он глянул на зияющую по сторонам бездну. «Не бойся!» — поддержал его Брахма. Раджа Хан вскинул голову и, преодолев страх, медленно двинулся вперёд...»

Уперев локти в колени, рассказчик положил голову на кулаки.

«Близок Создатель, да путь к нему долог! Не одну человеческую жизнь уже шёл Раджа Хан, а трон всё не приближался. Раджа Хан утомился, вместе с усталостью пришло отчаяние. «За-

чем идти, раз Бога всё равно не достичь?» — решил он. И, зажмурившись, сделал шаг в сторону. Там были чётки! Отступил ещё — и там! Теперь чётки были всюду, куда бы он ни ступал. Он стал приплясывать, оставаясь, как танцор на тёмной сцене, в луче света — это Брахма не сводил с него глаз. «Бога постигаешь, отказавшись от себя», — понял Раджа Хан. И побежал к Богу».

Едва дождавшись окончания, Иакинф громко высморкался, зажимая пальцем нос, и, поплевав на сигарету, с силой швырнул в урну.

Поколения в корпусе менялись быстро, а вокруг, как гиены, бродили медики. «Выживет — и так выживет, — шипел про себя Сачурин, — умрёт — и так умрёт...» Он тысячу раз повторял со сцены эту реплику из «Ревизора», вызывая смех, но теперь она наполнилась новым, ужасным смыслом. Он вдруг подумал, что весь мир — это огромная больница, над которой возвышается попечитель богоугодных заведений.

А во сне он по-прежнему бродил по сцене, превращаясь в Харитона Скуйбеду, только теперь выбивался из роли, будто шёл на поводу у обманщика-суфлёра. «Держись за Бога, а больше ни к кому не прилепляйся!» — выступая из тени, учил монах. И добавлял, спотыкаясь на каждом слове, как заика: «Жизнь что езда на телеге: Бог — это хвост у кобылы, а ближние — виды вдоль дороги...» А иногда хохотал, тряся козлиной бородкой, грозил пальцем: «Посмотри на ближнего своего — разве ты его выбирал? А неразборчивая любовь — это распутство!..» И Сачурин просыпался в холодном поту, в двух шагах от смерти. Он не приглядывался к ближним, лёжа в темноте, он слышал их стоны, нёс их страдания, которые складывались с его собственными в одну гигантскую пирамиду, подпиравшую небо.

По утрам, соскабливая ложками прилипшую к мискам кашу, угрюмо здоровались, не досчитываясь за столиками соседей. Врачи говорили, что их выписали, но все знали, что они лгут. Привозили и новеньких, с испуганными, существовавшими сами по себе глазами, их встречали как соседей по купе, понимая, что, любя одних, предаёшь других, а любить всех невозможно. Прибывающие быстро

опускались, и только Аверьян Богун, прилаживая к щеке скользкий обмылок, скрёб и скрёб щетину в ржавый, протекающий умывальник...

А Иакинф всё не умирал. Он уже пережил своё поколение, и это смутило врачей.

«Тыщу лет проживёте, — густо покраснел доктор, проверив его анализы, — ошибочка вышла...»

И Сачурин вернулся к жизни. «Провожающий — не попутчик», — повторяет он со сцены из вечера в вечер, превращаясь в Харитона Скуйбеду, и, оправляя рясу, замыкает на ключ Библию в железном окладе. Срывая аплодисменты, он кланяется, прижимая к подбородку цветы, из ближнего ряда на него восторженно смотрит жена, счастье переполняет его в эти мгновенья до кончиков парика, но, перекручивая ногами простыни, он кусает подушку, не в силах забыть других, полных жгучей обиды глаз, которыми провожали его бывшие ближние, которых он предал.

Цыганский роман

Она родилась в пятницу, тринадцатого, и, чтобы отвести порчу, её назвали в честь святой Параскевы Пятницы. В девичестве Параскева была Динь, а когда вышла за однофамильца, взяла фамилию мужа, оставив свою. Динь-Динь звучит как агар-агар, и Параскева сама была, как мармелад, сладкая, мягкая, с волосами, как водоросли.

Улица у нас такая короткая, что когда на одном конце чихают, на другом желают приятного аппетита, и про каждого знают больше, чем он сам. Дед у Параскевы был дровосеком, насвистывая, размахивал топором и, как верблюд, поплёвывал на ладони. Старый цыган не тратил копейку, пока не получал две, и не бросал слов на ветер, пока не подбирал других. У него были вислые усы и плечи такие широкие, что в дверь он протискивался боком. А сын пошёл в проезжего молодца. Тощий как палка и чёрный как грех, он целыми днями просиживал с кислой миной на лавке под раскидистой липой, потягивая брагу и отлучаясь только в уборную, так что со временем стал как поливальный шланг. От отца он унаследовал только вислые усы и верблюжью привычку. «Чай не колодец», — плевал он в шапку, прежде чем надеть. И, насвистывая, шёл под липу. На ней же он и повесился, поворачиваясь к ветру вывернутыми карманами, в которых зияли дыры.

Осиротев, Параскева осталась в хибаре на курьих ножках, из единственного окна которой выглядывала, как солнце. Утром она

смотрела, как в углу умывается кошка, днём латала дыры в карманах, а ночью спала «валетом» со старшим братом, у которого живот с голоду пел так громко, что заглушал соседского петуха. Брат с сестрой остались наследниками отцовских долгов и мудрости, что оставлять на тарелке кусок — к бедности. И Параскева, тщательно вылизывая прилипшие ко дну крошки, счастливо перешагнула бедность, став нищенкой. Простаивая у церковной ограды, она выпрашивала затёртые медяки, уворачиваясь от липких мужских взглядов. А вскоре отпала необходимость спать «валетом» — брат и сестра поженились. Брат был удачлив, приставляя лестницы к открытым чердакам, придельывая ноги чужому добру, но Параскеву не прельстил домашний халат, детские сопли и отложенные на чёрный день гроши. «Горячей кобылке хомут не набросишь», — ворчал брат и однажды приставил лестницу к тюремному окну. Погостив за решёткой, он стал бродягой, кочуя по чужим постелям, перебрался в далёкие страны и, когда изредка встречал там земляков, звавших на родину, говорил: «Где член, там и родина...»

Параскева же узнала мужчин в таком количестве, что их лица казались ей одинаковыми. «Динь-Динь, платьице скинь», — восхищённо шептались юнцы. «Динь-Динь, ноги раздвинь», — цедили сквозь зубы отвергнутые мужчины. А женщины, заслонив рты ладонью, с завистью передавали, что у Динь-Динь новый господин. Но

Параскева никого не любила, разбрасывая любовь как приманку. И была по-цыгански воровата — похищала сердца. Постепенно её коллекция включила нашу улицу, расширяясь, переросла город, захватила окрестности, пока не наскучила ей самой. Тогда она разбила её, наполнив осколками всю округу, сделав мужчин бессердечными.

Я не попал в их число. Женщины с детства обходили меня стороной. Одноклассницы казались мне некрасивыми, с одинаковыми, как на детских рисунках, лицами — два кружочка, два крючочка, посредине палочка. За спиной они крутили мне у виска, а в глаза, когда я отказывался от сигареты, дразнили, разнося сплетни, что мужское достоинство у меня короче окурка. Их насмешки становились нестерпимыми, и однажды я убежал с уроков, до вечера бродил по городу, заглядывая в светившиеся окна, думая, что все вокруг счастливы, кроме меня, читал вывески увеселительных заведений, в которые не решался зайти. А ночью мне снился полутёмный бар и худые, смуглые девушки в сизом дыму. Вблизи я разглядел, что это сошедшие с рекламы дамских сигарет химеры с девичьим лицом и тонкой папироской вместо шеи. Папироска дымилась, и девушки, как кошки, лизали её, обжигая языки.

— Так вам и надо, — опустил я за стойку, — нечего языки распускать!

— Девочку? — тронул меня бармен жёлтыми от никотина пальцами. Сидевшая рядом химера обожгла меня поцелуем. Я вскрикнул от боли и — проснулся в слезах.

Зайкаясь от обиды, я рассказал сон матери.

— Мама, почему женщины такие безжалостные?

Но мать состроила хитрую, злую физиономию, точь-в-точь как девица из сна:

— Так тебе и надо, женоненавистник!

И, наклонившись, приггла мне губы сигаретой.

Я закричал от ужаса — и тут пробудился окончательно. Подушка была зарёвана, а на губе горел ожог. «У женщин свой интернет, — решил я, — весь мир бьётся в их паутине...»

— Разве я гадкий утёнок? — пожаловался я матери. — Может, мне не идут штаны?

— Скоро ты вырастешь, — пропела она, будто колыбельную, — а взрослые мужчины проводят больше времени без штанов, чем в штанах...

У матери нежный голос, успокаивая, она ласково гладила мне голову. Но вдруг её лицо исказила злоба, рассмеявшись, она приблизила пылающие губы. Так я понял, что снова уснул и ко мне вер-

нулся прежний кошмар. От страха я зажмурился, выставив, как рогатки, морщины и опустив ресницы, как решётку. И заснул — теперь уже во сне. Так я снова попал в бар с табачным дымом.

— Девочку? — тронул меня бармен.

Я посмотрел на его жёлтые от никотина пальцы, когда сбоку ко мне прижалась худая, точно сигарета, химера. И всё повторилось — как в двух соснах, я заблудился в двух снах, которые опутывали меня из ночи в ночь. С тех пор я стал ни на что не годен — ни как мужчина, ни как женщина. Ночью, от одиночества, я пускал в постель кота, и моя жизнь пахла, как осенняя нива, — вчерашним днём. Мне оставалось одно — писать книги. Из-за плохой памяти я считал все мысли на свете своими, меня мучила невыносимая маета, которую приписывают полуденному бесу, и очень скоро мои книги выгнали из библиотеки чужие, как кукушонок — птенцов из гнезда. Зуд в штанах перебивала головная боль, и я смирился с затворничеством, с тем, что мои желания, как и я сам, оставались погребёнными на пыльных желтеющих страницах. Когда делалось скучно, я брал с полки свою книгу, первую попавшуюся, так как совершенно забывал их, читал её, будто заново писал, проживая одно время с героями. Поэтому я старел быстрее, чем шли годы, и в моём возрасте лет мне было — кукушка устанет куковать.

Однако годы, как горб — устал, а неси. Как-то я перебирал их, используя вместо счёта свои рёбра. Выстукивая каждый год кулаком, морщился от боли, а в конце концов сбился. И стал мылить верёвку. Но годы, как кирпичи в карманах, — верёвка оборвалась. Пока я валялся на полу, неуклюже подворачивая ноги, на пороге появилась Параскева.

— На! — протянула она яблоко, которое грызла.

«Взять яблоко — значит взять её», — понял я. И жестом позвал на пол.

— Только, чур, не болтать, — уселась она верхом, сунув мне в рот огрызок.

За окном гудела весна, змейками бежали ручьи, а облака сгрудились, как ледяные торосы. Но в комнате полыхало лето. Параскева смеялась от того, что моя щетина щекотала ей грудь, а я — от того, что распрощался с девственностью.

Мы прожили три года, и это время упало в копилку моих лет с отрицательным весом, будто съело три года, на которые я помолодел. Как-то Параскева провела пальцем по корешкам моих книг, выстроившихся на полках, как солдаты в строю.

– Ты знаменит?

Я отвернулся к стене.

– Если пишешь хуже других, есть шанс стать первым, если лучше — никогда...

– Какой скромный! Разве ты не знаешь, что слава приходит к тем, кого понимают все? Хорошо, что я не умею читать...

Так я стал учить её грамоте, а сам бросил писать.

– Милый наполнил мою жизнь смыслом, а я его — милой бессмыслицей, — будила она меня поцелуем, и моя жизнь пахла, как весенняя лужайка, — завтрашним утром.

А через год я предложил Параскеве руку и сердце. Она посерьёзнала, сняв с запястья браслет, стала катать по столу.

– На вопрос: «Это кто — жена?» мужчины вначале отвечают: «Да, но мы не расписаны...», а потом: «Нет. Но мы расписаны...» — Сложив пальцы в трубочку, она вдела браслет обратно. — От охлаждения, как от смерти, никуда не денешься...

– Сколько же нам осталось?

Взяв за руку, она стала гадать по ладони.

– Пока не явится разлучник. Я вижу, как у него лоснится кожа, а рот светится жёлтым пламенем...

С тех пор я не отпускал Параскеву из дома.

Было бабье лето, облака горбились, как дюны. Мы поужинали морскими устрицами, приправленными базиликом, и сменили стол на постель.

– Какие у тебя огромные глаза... А когда ты шуришься, они увеличиваются...

– Это как?

– От желания...

...

Параскева была ревнива и не прощала, когда ей изменяли во сне. Однажды я гулял в поле с пышной красавицей, которая сплела венок из одуванчиков, опустилась на колени и, умело переведя мою «стрелку» с шести часов на двенадцать, повесила на неё венок, как на гвоздь. Потом она сбросила одежду и раскинулась в медвяной траве, собирая в ложбинку на груди прозрачную росу, которую я пил, пустив в неё «корень». Красавица горячо меня обнимала, царапая на спине моё имя, так что я страшно удивился, когда она влепила мне пощечину.

И тут я проснулся — на Параскеве, с которой, спящий, занимался любовью.

Днём мы голыми бродили по саду, заглядывали, точно в будущее, в колодец с бревенчатыми стенками, в котором всегда осень и который всегда

глубже, чем кажется, рвали яблоки, выплёвывая косточки на шуршащих под ногами ужей, и чувствовали себя как Адам и Ева. А вечером шли на реку — глазеть на паром с пассажирами, похожими в тумане на души умерших, и слушать, как свистят сомы. А вернувшись, кидали шестигранные кости, разыгрывая, кто будет сверху. «Лентяй!» — упрекала Параскева, проигрывая. За ночь она бывала то суккубом, то инкубом, но всегда — ангелом. Теперь я проводил больше времени без штанов, чем в штанах, и думал, что мне не нужен дом — я вполне могу жить в шатре её волос.

– Как ты пишешь? — однажды спросила она.

– Это просто. Складываешь ладони в шар и достаёшь оттуда слово за словом, будто рыб из воды. Но теперь, когда я не пишу, мне незачем таиться, храня бесполезные слова...

И я произнёс ей все слова, которые не написал, извлекая из ладоней.

Ребёнка мы не хотели. «Хватит одного», — косилась она на меня и по-матерински гладила седину мягкой ладонью. Раз ночью в комнату влетела бабочка — мы узнали её по шуршанию крыл. «Моя бабушка говорила, что это — к смерти, — зашептала Параскева, — если бабочка чёрная — к мужской, белая — к женской... Не включай свет — лучше не знать!» Но я уже щёлкнул выключателем — на стекле бился серый мотылёк. Так я понял, что наш альков качается над бездной, что нам предстоит расставание. Ибо смерть в примете выступила аллегорией вечной разлуки — души и тела.

Шла наша третья осень, яблоки, падая, отсчитывали серые дни, а облака полосовали небо, которое делалось как картофельное пюре, расчерченное ложкой.

– Мы скоро расстанемся, — вздохнула Параскева. Поправив волосы как воронье крыло, она застегнула на шее ожерелье и, подобрав цветастую юбку, взгромоздилась на высокий табурет. И тут в дверь постучали.

– Ужин заказывали? — мял в руках шапку рассыльный. Он был черняв, как цыганский барон, с серьгой в ухе, в обтягивающих, словно тюленья кожа, рейтузах, под которыми, как ящерица в песке, проступал огромный член.

Я покачал головой.

– Но у меня записано, — загнусавил он, — прощальный ужин на две персоны с предметами разлуки...

И, слегка оттолкнув меня, протиснулся боком в

дверь. Отлетая в сторону, я вспомнил плечистого деда Параскевы. Наши взгляды скрестились:

— Ты её брат?

— Все цыгане — братья...

Часы на стене пробили тринадцать раз. «Мы будем есть или закусывать?» — обнажая золотые зубы, расплылся гость, вынимая бутылку рябиновки. Он говорил быстро, разными голосами, будто за спиной у него стоял целый табор, и ещё быстрее, как фокусник из рукава, доставал фаршированную рыбу, маслины, три серебряных прибора. Вместо свечей он зажёл дорожный фонарь, расставил бокалы, как маленькие фляжки, ножи в виде посоха, а на мокрую, как носовой платок от слёз, салфетку положил пустую переметную суму — для обедков. За столом он занял моё место так ловко, что я и не заметил. И стал тарашиться на Параскеву.

— К любой двери можно подобрать ключ. ... А к своей и подбирать не надо...

— Не надо... — эхом откликнулась Параскева.

За окном каркнула ворона, цветы на подоконнике завяли, а часы снова пробили тринадцать. Пока чернявый тараторил, я выпил бокал и неожиданно захмелел, так что, наполняя второй, пролил несколько капель на скатерть.

— Кровь не водица, — распинался меж тем цыган, уставившись на красное пятно, — своё возьмёт...

— Своё возьмёт... — опять повторила Параскева.

— И мы возьмём, — вставил я, — не водицу.

Подняв за горлышко опустевшую бутылку, я спрятал её под стол и спустился в погреб. Лестница подо мной скрипела, как лес в грозу, но я слышал наверху шум. Торопливо открыв кран, я

налил из бочки старого вина, зачерпнул в ковш воды и аккуратно, стараясь не расплескать, поднялся. Дом был пуст. И от этой пустоты я мгновенно ослеп, точно в глаз меня укусила пчела. На ощупь я выбрался во двор, постепенно привыкая к пустоте, как привыкают к свету, заглянул в колодезь, который показался мне глубже обычного. Я выскочил за калитку — далеко за околицей, вздымая пыль, мужчина, как овцу на поводке, вёл за ожерелье женщину. Я долго смотрел, как висит его шапка, представляя, как он плевал в неё, прежде чем надеть, пока она не скрылась за поворотом.

Поводок у Параскевы оказался коротким, удаляясь, её фамилия ещё звенела из разных мест, как колокольчик, пока не затихла. Вечерами я по-прежнему слушаю, как выплескиваются на берег сомы, блуждаю в двухъярусном сне, покидая его только затем, чтобы сочинить очередную книгу. Мои часы показывают вечер, как и раньше от одиночества я пускаю в постель кота и перечитываю свои книги. А когда девственность гнетёт меня с особенной силой, я беру с полки самую дорогую из своих фантазий. Это рассказ про Параскеву —

«ЦЫГАНСКИЙ РОМАН»

Иван ЗОРИН

родился в 1959 году в Москве.

Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «физик-ядерщик».

Главный редактор «Литературного журнала».

Автор книг «Игры со сном» (М., 1992),

«Письмена на орхалковом столбе» (М., 1993),

«Исповедь на тему времени» (М., 1998),

«Золото, ладан и смирна» (2006).

Публиковался в журналах «Звезда», «Литературная учеба», «Проза», «Московский вестник», «Кольцо «А»», «Северная Аврора», «Сибирские огни»,

«Дарьял», «Пилигрим» (Германия), «Листья» (Канада),

«Новый берег» (Дания), «Литературное приложение к газете «ВТВ»» (США),

а также в литературно-философском журнале «Торсо» (Германия) и др.

Победитель конкурса «Интерпроза»-2007 в номинации «Публицистика».

Переводился на немецкий язык.

Член Союза писателей России.

